

Максим Горький

9-е января



Максим Горький

9-е января

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635785

Аннотация

«...Толпа напоминала тёмный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури, она текла вперёд медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбуждённо, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие, серые птицы.

Говорили негромко, серьёзно, как бы оправдываясь друг перед другом.

- Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...
- Без причины народ не тронется...
- Разве „он“ это не поймёт?..»

Максим Горький

9-е января

...Толпа напоминала тёмный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури, она текла вперёд медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбуждённо, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие, серые птицы.

Говорили негромко, серьёзно, как бы оправдываясь друг перед другом.

– Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

– Без причины народ не тронется...

– Разве «он» это не поймёт?..

Больше всего говорили о «нём», убеждали друг друга, что «он» – добрый, сердечный и – всё поймёт... Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о «нём» давно – а может быть, и никогда – не думали серьёзно, не представляли его себе живым, реальным лицом, не знали, что это такое, и даже плохо понимали – зачем «он» и что может сделать. Но сегодня «он» был нужен, все торопились понять «его» и, не зная того, который существовал в действительности, невольно создавали в воображении своём нечто огромное. Велики были надежды, они требовали ве-

ликого для опоры своей.

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

– Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздражёнными всплесками криков.

– Мы желаем открыто...

– Ты, брат, молчи!..

– К тому же, – отец Гапон...

– Он знает!..

Толпа нерешительно плескалась в канале улицы, разбиваясь на отдельные группы; гудела, споря и рассуждая, толкалась о стены домов и снова заливала середину улицы тёмной, жидкой массой – в ней чувствовалось смутное брожение сомнений, было ясно напряжённое ожидание чего-то, что осветило бы путь к цели верою в успех и этой верой связало, сплавило все куски в одно крепкое стройное тело. Неверие старались скрыть и не могли, замечалось смутное беспокойство и какая-то особенно острая чуткость ко звукам. Шли, осторожно прислушиваясь, заглядывали вперёд, чего-то упрямо искали глазами. Голоса тех, кто веровал в свою внутреннюю силу, а не в силу вне себя, – эти голоса вызывали у толпы испуг и раздражение, слишком резкие для существа, убеждённого в своем праве состязаться в открытом споре с тою силою, которую оно хотело видеть.

Но, переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал ощущение

внутреннего роста, будил сознание права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.

– Мы тоже люди, как-никак...

– «Он», чай, поймёт, – мы просим...

– Должен понять!.. Не бунтуем...

– Опять же, – отец Гапон...

– Товарищи! Свободу не просят...

– Ах, господи!..

– Да погоди ты, брат!..

– Гоните его прочь, дьявола!..

– Отец Гапон лучше знает как...

– Когда людям необходима вера, – она приходит...

Высокий человек в чёрном пальто, с рыжей заплатой на плече, встал на тумбу и, сняв шапку с лысой головы, начал говорить громко, торжественно, с огнём в глазах и дрожью в голосе. Говорил о «нём», о царе.

Но в слове и тоне сначала чувствовалось что-то искусственно приподнятое, не слышно было того чувства, которое способно, заражая других, создавать почти чудеса. Казалось, человек насилует себя, пытаясь разбудить и вызвать в памяти образ давно безличный, безжизненный, стёртый временем. Он был всегда, всю жизнь, далёк от человека, но сейчас он стал необходим ему – в него человек хотел вложить свои надежды.

И они постепенно оживляли мертвеца. Толпа слушала внимательно – человек отражал её желания, она это чув-

ствовала. И хотя сказочное представление силы явно не сливалось с «его» образом, но все знали, что такая сила есть, должна быть. Оратор воплотил её в существо всем известное по картинкам календарей, связал с образом, который знали по сказкам, – а в сказках этот образ был человечен. Слова оратора – громкие, понятные – понятно рисовали существо властное, доброе, справедливое, отечески внимательное к нужде народа.

Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их, заглушая тихий шопот сомнений... Люди торопились поддаться давножданному настроению, стискивали друг друга в огромный ком единых тел, и плотность, близость плеч и боков, согревала сердца теплотой уверенности, надежды на успех.

– Не надо нам красных флагов! – кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шёл во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

– Мы к отцу идём!..

– Не даст в обиду!

– Красный цвет – цвет нашей крови, товарищи! – упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.

– Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.

– Не надо!..

– Смутьяны, черти!..

– Отец Гапон – с крестом, а он – с флагом.

– Молодой ещё, но тоже, чтобы командовать...

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздражённо и тревожно кричали:

– Гони его, который с флагом!..

Теперь двигались быстро, без колебаний и с каждым шагом всё более глубоко заражали друг друга единством настроения, хмелем самообмана. Только что созданный, «он» настойчиво будил в памяти старые тени добрых героев – отзвуки сказок, слышанных в детстве, и, насыщаясь живою силою желания людей верить, безудержно рос в их воображении...

Кто-то кричал:

– «Он» нас любит!..

И несомненно, что масса людей искренно верила в эту любовь существа, ею же только что созданного.

Когда толпа вылилась из улицы на берег реки и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост, людей не остановила эта тонкая, серая изгородь. В фигурах солдат, чётко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели тёмный дом – там ждал их «он», царь, хозяин этого дома. Великий и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали к нему

народ, который его любит и желает говорить с ним о своей нужде.

Но всё-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы немного замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону, и все старались показать друг другу, что о солдатах – они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блесневшего высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то голос, соболезнуя, произнёс:

– Холодно солдатам!..

– Н-да-а...

– Солдаты – для порядка.

– Спокойно, ребята!.. Смирно!

– Ура, солдаты! – крикнул кто-то.

Офицер в жёлтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал встречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

– Чего это они? – спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем, как-то вдруг, стало трудно идти.

– Назад! – донёсся крик офицера.

Несколько человек оглянулось – позади их стояла плотная масса тел, из улицы в неё лилась бесконечным потоком тёмная река людей; толпа, уступая её напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперёд и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офи-

церу. Шли и кричали:

– Мы – к государю нашему...

– Вполне спокойно!..

– Назад! Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила гулким эхом удивления. О том, что не допустят до «него», – некоторые из толпы говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, который идёт к «нему» спокойно, с верою в его силу и доброту, – это нарушало цельность созданного образа. «Он» – сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем отталкивать от себя свой народ штыками и пулями...

Худой, высокий человек с голодным лицом и чёрными глазами вдруг закричал:

– Стрелять? Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

– Что? Говорил я – не пустят они...

– Кто? Солдаты?

– Не солдаты, а – там...

Он махнул рукой куда-то вдаль.

– Выше которые... вот! Ага? Я же говорил!

– Это ещё неизвестно...

– Узнают, зачем идём, – пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии. Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей стали нервнее, суетливее; от

реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперёд. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе. Но впереди все – мужчины, женщины, подростки – тоже махали белыми платками.

– Какая там стрельба? К чему? – солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. – Просто они не пускают на мост, дескать – идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперёд.

– Холостыми... – не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперёд, на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились ещё люди и ещё, охватывая её, забегая вперёд её.

И снова треск ружейного залпа, ещё более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, – точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бе-

жали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расплзались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потёк по воздуху непрерывной, напряжённо дрожащей пёстрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь.

Наклонив головы, люди группами бросились вперёд подбирать мёртвых и раненых. Раненые тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг стали иными, и во всех глазах сверкало что-то почти безумное. Паники – того состояния общего чёрного ужаса, который вдруг охватывает людей, сметает тела, как ветер сухие листья в кучу, и слепо тащит, гонит всех куда-то в диком вихре стремления спрятаться, – этого не было. Был ужас, жгучий, как промёрзшее железо, он леденил сердце, стискивал тело и заставлял смотреть широко открытыми глазами на кровь, поглощавшую снег, на окровавленные лица, руки, одежды, на трупы, страшно спокойные в тревожной суете живых. Было едкое возмущение, тоскливо бесильная злоба, много растерянности и много странно неподвижных глаз, угрюмо нахмуренных бровей, крепко сжатых кулаков, судорожных жестов и резких слов. Но казалось, что больше всего в груди людей влилось холодного, мертвящего душу изумления. Ведь за несколько ничтожных минут перед этим они шли, ясно видя перед собою цель пути, пред ними

величаво стоял сказочный образ, они любовались, влюблялись в него и питали души свои великими надеждами. Два залпа, кровь, трупы, стоны, и все встали перед серой пустотой, бессильные, с разорванными сердцами.

Топтались на одном месте, точно опутанные чем-то, чего не могли разорвать; одни молча и озабоченно носили раненых, подбирали трупы, другие точно во сне смотрели на их работу, ошеломлённо, в странном бездействии. Многие кричали солдатам слова упрёков, ругательства и жалобы, размахивали руками, снимали шапки, зачем-то кланялись, грозили чьим-то страшным гневом...

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось, что у всех солдат белые глаза и смёрзлись губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко:

– Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли! Не верьте!.. Иди, братцы, – надо объяснить!..

– Гапон – изменник! – вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.

– Что, товарищи, видите, как встречает вас?..

– Постой, – это ошибка! Не может этого быть, ты пойми!

– Дай дорогу раненому!.. Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось ещё более, и тёмные губы, слабо двигаясь, прошептали:

– Я говорил – не пустят!.. Они его скрывают, – что им – народ!

– Конница!

– Беги!..

Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две половины деревянных ворот, танцуя и фыркая, между ними проехали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, серебряными лентами сверкнули, замахнулись все в одну сторону. Толпа стояла и качалась, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

– Ма-арш! – раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжёлый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мёртвых, сверкали сабли, сверкали крики ужаса и боли, порою был слышен свист стали и удар её о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон...

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за ударом тела их наклонялись набок. Лица у них были красные, безглазые. Ржали лошади, страшно оскалывая зубы, взмаживая головами...

Народ загнали в улицы... И тотчас же, как только топот лошадей исчез вдаль, люди остановились задыхаясь, взгля-

нули друг на друга выкатившимися глазами. На многих лицах явились виноватые улыбки, и кто-то засмеялся, крикнув:

– Ну, и бежал же я!..

– Тут – побежишь!.. – ответили ему.

И вдруг со всех сторон посыпались восклицания изумления, испуга, злобы...

– Что же это, братцы, а?

– Убийство идёт, православные!

– За что?

– Вот так правительство!

– Рубят, а? Конями топчут...

Недоуменно мялись на месте, делясь друг с другом своим возмущением. Не понимали, что нужно делать, никто не уходил, каждый прижимался к другому, стараясь найти какой-то выход из пёстрой путаницы чувств, смотрели с тревожным любопытством друг на друга и – всё-таки, более изумлённые, чем испуганные, – чего-то ждали, прислушиваясь, оглядываясь. Все были слишком подавлены и разбиты изумлением, оно лежало сверху всех чувств, мешало слиться настроению более естественному в эти неожиданные, страшные, бессмысленно ненужные минуты, пропитанные кровью невинных...

Молодой голос энергично позвал:

– Эй! Идите подбирать раненых!

Все встrepенулись, быстро пошли к выходу на реку. А навстречу им в улицу вползали по снегу и входили, шата-

ьясь на ногах, изувеченные люди, в крови и снегу. Их брали на руки, несли, останавливали извозчиков, сгоняя седоков, куда-то увозили. Все стали озабочены, угрюмы, молчаливы. Рассматривали раненых взвешивающими глазами, что-то молча измеряли, сравнивали, углублённо искали ответов на страшный вопрос, встававший перед ними неясной, бесформенной, чёрной тенью. Он уничтожал образ недавно выдуманного героя, царя, источника милости и блага. Но лишь немногие решались вслух сознаться, что этот образ уже разрушен. Сознаться в этом было трудно, – ведь это значило лишить себя единственной надежды...

Шёл лысый человек в пальто с рыжей заплатой, его тусклый череп теперь был окрашен кровью, он опустил плечо и голову, ноги у него подламывались. Его вели широкоплечий парень без шапки, с курчавой головой и женщина в разорванной шубке с безжизненным, тупым лицом.

– Погоди, Михаило, – как же это? – бормотал раненый. – Стрелять в народ – не разрешается!.. Не должно это быть, Михаило.

– А – было! – крикнул парень.

– И стреляли... И рубили... – уныло заметила женщина.

– Значит, приказание дано на это, Михаило...

– И было! – злобно крикнул парень. – А ты думал – с тобой разговаривать станут? Вина стакан поднесут?

– Погоди, Михаило...

Раненый остановился, опираясь спиной о стену, и закри-

чал:

– Православные!.. За что нас убивают? По какому закону?.. По чьему приказу?

Люди шли мимо него, опуская головы.

В другом месте на углу у забора собрались несколько десятков, и в середине их чей-то быстрый, задыхающийся голос говорил тревожно и злобно:

– Гапон вчера был у министра, он знал всё, что будет, значит – он изменник нам, – он повёл нас на смерть!

– Какая ему польза?

– А я – знаю?

Всюду разгоралось волнение, перед всеми вставали вопросы ещё неясные, но уже каждый чувствовал их важность, глубину, суровое, настойчивое требование ответа. В огне волнения быстро истлевала вера в помощь извне, надежда на чудесного избавителя от нужды.

Посреди улицы шла женщина, полная, плохо одетая, с добрым лицом матери, с большими, грустными глазами. Она плакала и, поддерживая правой рукой окровавленную левую, говорила:

– Как буду работать? Чем кормить детей?.. Кому жаловаться?.. Православные, где же у народа защитники, если и царь против него?

Её вопросы, громкие и ясные, разбудили людей, всколыхнули и встревожили их. К ней быстро подходили, бежали со всех сторон и, останавливаясь, слушали её слова угрюмо и

внимательно.

– Значит, народу – нет закона?

У некоторых вырывались вздохи. Другие негромко ругались.

Откуда-то пронёсся резкий, злой крик.

– Получил помощь – сыну ногу разбили...

– Петруху – насмерть!..

Криков было мною, они хлестали по ушам и, всё чаще вызывая мстительное эхо, резкие отзвуки, будили чувство озлобления, сознание необходимости защищаться от убийц. На бледных лицах выступало некое решение.

– Товарищи! Мы всё-таки идём в город... может, чего-нибудь добьёмся... Идёмте, понемногу!

– Перебьют...

– Давайте говорить солдатам, – может, они поймут, что нет закона убивать народ!

– А может, есть, – почему мы знаем?

Толпа медленно, но неуклонно изменялась, перерождаясь в народ. Молодёжь расходилась небольшими группами, все они шли в одну сторону, снова к реке. И всё несли раненых, убитых, пахло тёплой кровью, раздавались стоны, возгласы.

– Якову Зимину – прямо в лоб...

– Спасибо батюшке-царю!

– Да-а, – встретил!

Раздалось несколько крепких слов. Даже за одно из них четверть часа тому назад толпа разорвала бы в клочья.

Маленькая девочка бежала и кричала всем:

– Не видали маму?

Люди молча оглядывались на неё и уступали ей дорогу.

Потом раздался голос женщины с раздробленной рукой:

– Здесь, здесь я...

Улица пустела. Молодёжь уходила всё быстрее. Пожилые люди угрюмо, не спеша, тоже шли куда-то по двое и по трое, исподлобья глядя вслед молодым. Говорили мало... Лишь порой кто-нибудь, не сдержав горечи, восклицал негромко:

– Значит, народ отбросили теперь?..

– Убийцы проклятые!..

Сожалели об убитых людях и, догадываясь, что убит также один тяжёлый, рабский предрассудок, осторожно молчали о нём, не произнося более царапающего ухо имени его, чтобы не тревожить в сердце тоски и гнева...

А может быть, молчали о нём, боясь создать другой на место мёртвого...

...Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной цепью серые солдаты, под окнами дворца на площади располагалась конница, торчали пушки, небольшие и похожие на пиявок. Запах сена, навоза, лошадиного пота окружал дворец, лязг железа, звон шпор, крики команды, топот лошадей колебался под слепыми окнами дворца.

Против солдат – тысячи безоружных, озлобленных людей топчется на морозе, над толпою – сероватый пар дыхания,

точно пыль. Рота солдат опиралась одним флангом о стену здания на углу Невского проспекта, другим – о железную решётку сада, преграждая дорогу на площадь ко дворцу. Почти вплоть к солдатам штатские, разнообразно одетые люди, большинство рабочих, много женщин и подростков.

– Расходись, господа! – вполголоса говорил фельдфебель. Он ходил вдоль фронта, отодвигая людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.

– Почему вы не пускаете? – спрашивали его.

– Куда?

– К царю!

Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние, воскликнул:

– Да я же говорю – нет его!

– Царя нет?

– Ну да! Сказано вам нет, и – ступайте!

– Совсем нет царя? – настойчиво допрашивал иронический голос.

Фельдфебель снова остановился, поднял руку.

– За такие слова – берегись!

И другим тоном объяснил:

– В городе – нет его!

Из толпы ответили:

– Нигде нет!

– Кончился!

– Расстреляли вы его, дьяволы!

– Вы думали – народ убиваете?

– Народ – не убьешь! Его на всё хватит...

– Отойди, господа! Не разговаривай!

– Ты кто? Солдат? Что такое – солдат?

В другом месте старичок с бородкой клином воодушевленно говорил солдатам:

– Вы – люди, мы – тоже! Сейчас вы в шинелях, завтра – в кафтанах. Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придётся и вам, ребята, так же вот, как мы. Стрелять, значит, в вас надо будет? Убивать за то, что голодные будете, а?

Солдатам холодно. Они переминались с ноги на ногу, били подошвами о камни мостовой, тёрли уши, перебрасывая ружья из руки в руку. Слушая речи, вздыхали, двигали глазами вверх и вниз, чмокали озябшими губами, сморкались. Лица, посиневшие от холода, однообразно унылы, туповаты, солдатишки – мелкие, в рост своих винтовок с примкнутыми штыками, – одиннадцатая рота 144-го Псковского полка. Некоторые из них, прищуриваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против массы людей, ради которой приходится мёрзнуть. От их серой, скучной линии веяло усталостью, тоской.

Люди, поддаваясь толчкам сзади, порою толкали солдат.

– Тиша! – негромко откликнулся на толчки человек в серой шинели. Толпа всё более горячо кричала им что-то. Солдаты слушали мигая, лица кривились неопределёнными гри-

масами, и нечто жалкое, робкое являлось на них.

– Не трог ружо! – крикнул один из них молодому парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:

– Ты солдат, а не палач. Тебя позвали защищать Россию от врагов, а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ – это и есть Россия!

– Мы – не стрелям! – ответил солдат.

– Гляди – стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего царя...

Кто-то перебил речь, крикнув:

– Не желает!

– Что в том худого, что народ захотел поговорить с царём о своих делах? Ну, скажи, а?

– Не знаю я! – сказал солдат, сплёвывая.

Сосед его добавил:

– Не велено нам разговаривать...

Уныло вздохнул и опустил глаза.

Один солдатик вдруг ласково спросил стоявшего перед ним:

– Земляк, – не рязанский будете?

– Псковский. А что?

– Так. Я – рязанский...

И, широко улыбнувшись, зябко передёрнул плечами.

Люди колыхались перед ровной серой стеной, бились об неё, как волны реки о камни берега. Отхлынув, снова воз-

вращались. Едва ли многие понимали, зачем они здесь, чего хотят и ждут? Ясно сознанный цели, определённого намерения не чувствовалось. Было горькое чувство обиды, возмущения, у многих – желание мести, это всех связывало, удерживало на улице, но не на кого было излить эти чувства, некому – мстить... Солдаты не возбуждали злобы, не раздражали – они были просто тупы, несчастны, иззябли, многие не могли сдержать дрожи в теле, тряслись, стучали зубами.

– С шести часов утра стоим! – говорили они. – Просто беда!

– Ложись и – помирай...

– Уйти бы вам, а? И мы бы в казармы, в тепло пошли...

– Чего вы беспокоитесь? Чего ждёте? – говорил фельдфебель.

Его слова, солидное лицо и серьёзный, уверенный тон охлаждали людей. Во всём, что он говорил, был как бы особый смысл, более глубокий, чем его простые слова.

– Нечего ждать... Только войско из-за вас страдает...

– Стрелять будете в нас? – спросил его молодой человек в башлыке.

Фельдфебель помолчал и спокойно ответил:

– Прикажут – будем!

Это вызвало взрыв укоризненных замечаний, ругательств, насмешек.

– За что? За что? – спрашивал громче всех высокий рыжий человек.

– Не слушаете приказаний начальства! – объяснил фельд-фебель, потирая ухо.

Солдаты слушали говор толпы и уныло мигали. Один тихо воскликнул:

– Горячего бы чего-нибудь теперь!..

– Крови моей – хочешь? – спросил его чей-то злой, тоскливый голос.

– Я – не зверь! – угрюмо и обиженно отозвался солдат.

Много глаз смотрели в широкое, приплюснутое лицо длинной линии солдат с холодным, молчаливым любопытством, с презрением, гадливостью. Но большинство пыталось разогреть их огнём своего возбуждения, пошевелить что-то в крепко сжатых казармою сердцах, в головах, засоренных хламом казённой выучки. Большинство людей хотело что-нибудь делать, как-нибудь воплотить свои чувства и мысли в жизнь и упрямо билось об эти серые, холодные камни, желавшие одного – согреть свои тела.

Всё горячее звучали речи, всё более ярки становились слова.

– Солдаты! – говорил плотный мужчина, с большой бородой и голубыми глазами. – Вы дети русского народа. Обеднял народ, забыт он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошёл сегодня просить царя о помощи, а царь велит вам стрелять в него, убивать. У Троицкого моста – стреляли, убили не меньше сотни. Солдаты! Народ – отцы и братья ваши – хлопочет не только за себя, – а и за вас. Вас ставят про-

тив народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что против себя идёте?

Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы бороды, весь облик человека и его простые, верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская глаза перед его взглядом, они слушали внимательно, иной, покачивая головой, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:

– Отойди, – офицер услышит!

Офицер, высокий, белобрысый, с большими усами, медленно шёл вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь зубы говорил:

– Ра-азайдись! Па-ашёл прочь! Что? Пагавари, – я тебе пагаварю!..

Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без блеска. Он шёл не торопясь, твёрдо ударяя ногами в землю, но с его приходом время полетело быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть, боясь наполниться чем-то оскорбляющим, гнусным. За ним точно вытягивалась невидимая линейка, равняя фронт солдат, они подбирали животы, выпячивали груди, посматривали на носки сапог. Некоторые из них указывали людям глазами на офицера и делали сердитые гримасы. Остановясь на фланге, офицер крикнул:

– Смирно-о!

Солдаты всколыхнулись и замерли.

– Приказываю разойтись! – сказал офицер и не торопясь вынул из ножен шашку.

Разойтись было физически невозможно, – толпа густо залила всю маленькую площадь, а из улицы, в тыл ей, всё шёл и шёл народ.

На офицера смотрели с ненавистью, он слышал насмешки, ругательства, но стоял под их ударами твёрдо, неподвижно. Его взгляд мёртво осматривал роту, рыжие брови чуть-чуть вздрагивали. Толпа сильнее зашумела, её, видимо, раздражало это спокойствие.

– Этот – скомандует!

– Он без команды готов рубить...

– Ишь, вытащил селёдку-то...

– Эй, барин! Убивать – готов?

Разрастался буйный задор, являлось чувство беззаботной удали, крики звучали громче, насмешки – резче.

Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, побледнел и тоже быстро вынул саблю.

Вдруг раздалось зловещее пение рожка. Публика смотрела на горниста – он так странно надул щёки и выкатил глаза, что казалось – лицо его сейчас лопнет, рожок дрожал в его руке и пел слишком долго. Люди заглушили гнусавый, медный крик громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий, словами укоров, стонами тоскливого бессилия, криками отчаяния и удалства, вызванного ощущением возможности умереть в следующий миг и невозможностью избежать

смерти. Уйти от неё было некуда. Несколько тёмных фигур бросились на землю и прижались к ней, иные закрывали руками лица, а седобородый человек, распахнув на груди пальто, выдвинулся вперёд всех, глядя на солдат голубыми глазами и говоря им что-то утопавшее в хаосе криков.

Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и все оледенели в однообразной, сторожкой позе, вытянув к толпе штыки.

Было видно, что линия штыков висела в воздухе беспокойно, неровно, – одни слишком поднялись вверх, другие наклонились вниз, лишь немногие смотрели прямо в груди людей, и все они казались мягкими, дрожали и точно таяли, сгибались.

Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крикнул:
– Что вы делаете? Убийцы!

Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сорвался залп, люди покачнулись назад, отброшенные звуком, ударами пуль, падениями мёртвых и раненых. Некоторые стали молча прыгать через решётку сада. Брызнул ещё залп. И ещё.

Мальчик, застигнутый пулею на решётке сада, вдруг перегнулся и повис на ней вниз головой. Высокая, стройная женщина с пышными волосами тихо ахнула и мягко упала около него.

– Ах вы, проклятые! – крикнул кто-то.

Стало просторней и тише. Задние убегали в улицы, во дворы, толпа тяжело отступала, повинувшись невидимым толч-

кам. Между ею и солдатами образовалось несколько сажен земли, сплошь покрытой телами. Одни из них, вставая, быстро отбегали к людям, другие поднимались с тяжёлыми усилиями, оставляя за собой пятна крови, они, шатаясь, тоже куда-то шли, и кровь текла вслед за ними. Много людей лежало неподвижно, вверх лицом и вниз и на боку, но все вытянувшись, в странном напряжении тела, схваченного смертью и точно вырывавшегося из рук её...

Пахло кровью. Запах этот её напоминал тёплое, солоноватое дыхание моря вечером, после жаркого дня, он был нездоров, пьянил и возбуждал скверную жажду обонять его долго и много. Он гадко развращает воображение, как это знают мясники, солдаты и другие убийцы по ремеслу.

Толпа, отступая, ахала, проклятия, ругательства и крики боли сливались в пёстрый вихрь со свистом, уханьем и стонами, солдаты стояли твёрдо и были так же неподвижны, как мёртвые. Лица у них посерели и губы плотно сжались, точно все эти люди тоже хотели кричать и свистеть, но не решались, сдерживались. Они смотрели прямо перед собой широко открытыми глазами и уже не мигали. В этом взгляде не было заметно что-либо человеческое, казалось, что они не видят ничего, эти опустошённые, мутные точки на серых, вытянутых лицах. Не хотят видеть, может быть, тайно боятся, что, увидав тёплую кровь, пролитую ими, ещё захотят пролить её. Ружья дрожали в их руках, штыки колебались, сверлили воздух. Но эта дрожь тела не могла разбудить тупого бесстра-

ствия в грудях людей, сердца которых были погашены гнѐтом насилия над волей, мозги туго оклеены противной, гнилой ложью. С земли поднялся бородастый голубоглазый человек и снова начал говорить рыдающим голосом, весь вздрагивая:

– Меня – не убили. Это потому, что я говорил вам святую правду...

Толпа снова угрюмо и медленно подвигалась вперѐд, убивая мѐртвых и раненых. Несколько человек встало рядом с тем, который говорил солдатам, и тоже, перебивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали, беззлобно, с тоской и состраданием. В голосах всё ещё звучала наивная вера в победу правдивого слова, желание доказать бессмыслие и безумие жестокости, внушить сознание тягостной ошибки. Старались и хотели заставить солдат понять позор и гадость их невольной роли...

Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно осмотрел его и пошѐл к этой группе людей. Она сторонилась от него не спеша, как сторонятся от камня, который не быстро катится с горы. Голубоглазый бородастый человек не двигался, встречая офицера словами горячей укоризны, широким жестом указывая на кровь вокруг.

– Чем это оправдать, подумайте? Нет оправдания!

Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови, вытянул руку. Выстрела не было слышно, был виден дым, он окружил руку убийцы раз, два и три. После третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся назад, взмахивая правой

рукой, и упал. К убийце бросились со всех сторон, – он отступал, махая шашкой, совал ко всем свой револьвер... Какой-то подросток упал под ноги ему, он его ткнул шашкой в живот. Кричал ревушим голосом, прыгал во все стороны, как упрямая лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо, бросали комьями окровавленного снега. К нему подбежал фельдфебель и несколько солдат, выставив вперёд штыки, – тогда нападавшие разбежались. Победитель грозил саблей вслед им, а потом вдруг опустил её и ещё раз воткнул в тело подростка, ползавшего у его ног, теряя кровь.

И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очищали площадь пред этим звуком, а он тонко извивался в воздухе и точно дочерчивал пустые глаза солдат, храбрость офицера, его красную на конце шашку, растрепавшиеся усы...

Живой, красный цвет крови раздражал глаза и притягивал их к себе, возбуждая хмельное и злобное желание видеть его больше, видеть всюду. Солдаты как-то насторожились, двигали шеями и, кажется, искали глазами ещё живых целей для своих пуль...

Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой, что-то кричал, отрывисто, гневно, дико.

С разных концов в ответ ему неслись крики:

– Палач!

– Мерзавец!

Он начал приводить в порядок свои усы.

Раздался ещё залп, другой...

Улицы были набиты народом, как мешки зерном. Здесь было меньше рабочих, преобладали мелкие торговцы, служащие. Уже некоторые из них видели кровь и трупы, иных была полиция. Их вывела из домов на улицу тревога, и они всюду сеяли её, преувеличивая внешний ужас дня. Мужчины, женщины, подростки – все тревожно оглядывались, прислушиваясь ожидали. Рассказывали друг другу об убийствах, охали, ругались, спрашивали легко раненых рабочих, порою понижали голоса до шопота и долго говорили друг другу что-то тайное. Никто не понимал, что надо делать, и никто не уходил домой. Чувствовали и догадывались, что за этими убийствами есть ещё что-то важное, более глубокое и трагическое для них, чем сотни убитых и раненых людей, чужих им.

До этого дня они жили почти безотчётно, какими-то неясными, неизвестно когда, незаметно как сложившимися представлениями о власти, законе, начальстве, о своих правах. Бесформенность этих представлений не мешала им опутать мозг густой, плотной сетью, покрыть его толстой, скользкой коркой; люди привыкли думать, что в жизни есть некая сила, призванная и способная защищать их, есть – закон. Эта привычка давала уверенность в безопасности и ограждала от беспокойных мыслей. С нею жилось недурно, и, несмотря на то, что жизнь десятками мелких уколов, царапин и толчков, а иногда серьёзными ударами, тревожила эти туманные

представления, они были крепки, вязки и сохраняли свою мёртвую цельность, быстро зарастивая все трещины и царапины.

А сегодня сразу мозг обнажился, вздрогнул и грудь наполнилась тревогой, холодом. Всё устоявшееся, привычное опрокинулось, разбилось, исчезло. Все, более или менее ясно, чувствовали себя тоскливо и страшно одинокими, беззащитными пред силой цинической и жестокой, не знающей ни права, ни закона. В её руках были все жизни, и она могла безотчётно сеять смерть в массе людей, могла уничтожать живых, как ей хотелось и сколько ей было угодно. Никто не мог её сдержать. Ни с кем она не хотела говорить. Была всевластна и спокойно показывала безмерность своей власти, бессмысленно заваливая улицы города трупами, заливая их кровью. Её кровавый, безумный каприз был ясно виден. Он внушал единокорную тревогу, едкий страх, опустошавший душу. И настойчиво будил разум, понуждая его создавать планы новой защиты личности, новых построений для охраны жизни.

Низко опустив голову, качая окровавленными руками, шёл какой-то плотный, коренастый человек. Его пальто спереди было обильно залито кровью.

– Вы ранены? – спросили его.

– Нет.

– А кровь?

– Не моя это! – не останавливаясь, ответил он. И вдруг

остановился, оглянулся и заговорил странно громко:

– Это не моя кровь, господа, – это кровь тех, которые верили!..

Не кончив, он двинулся дальше, снова опустив голову.

В толпу, помахивая нагайками, въехал отряд конных. От них отскакивали во все стороны, давя друг друга и налезая на стены. Солдаты были пьяны, они бессмысленно улыбались, качаясь в сёдлах, иногда, как бы нехотя, били нагайками по головам и плечам. Один ушибленный упал, но тотчас, вскочив на ноги, спросил:

– За что? Э-эх ты, зверь!

Солдат быстро схватил из-за плеча винтовку и выстрелил в него с руки, не останавливая лошадь. Человек снова упал. Солдат засмеялся.

– Что делают? – в страхе кричал почтенный, прилично одетый господин, обращая во все стороны искажённое лицо. – Господа! Вы видите?

Непрерывным потоком струился глухой, возбуждённый шум голосов, в муках страха, в тревоге отчаяния – рождалось что-то медленно и незаметно объединявшее воскресшую из мёртвых, не привыкшую работать, неумелую мысль.

Но находились люди мира.

– Позвольте, зачем он обругал солдата?

– Солдат – ударил!

– Он должен был посторониться!

В углублении ворот две женщины и студент перевязывали

простреленную руку рабочего. Он морщился, хмуро поглядывая вокруг, и говорил окружавшим:

– Никаких тайных намерений не было у нас, об этом говорят только подлецы да сыщики. Мы шли открыто. Министры знали, зачем идём, у них есть копии нашей петиции. Сказали бы, подлецы, что, мол, нельзя, не идите. Имели время сказать нам это, – мы не сегодня собрались. Все знали – и полиция и министры, – что мы пойдём. Разбойники...

– О чём вы просили? – серьёзно, вдумчиво осведомился седой и сухонький старик.

– Просили, чтобы царь выборных позвал от народа и с ними правил делами, а не с чиновниками. Разорили Россию, сволочи, ограбили всех.

– Действительно... контроль необходим! – заметил старичок.

Рабочему перевязали рану, осторожно спустили рукав платья.

– Спасибо, господа! Я говорил товарищам – зря мы идём! Не будет толку... Теперь – доказано это.

Он осторожно засунул руку между пуговицами пальто и не спеша пошёл прочь.

– Вы слышите, как они рассуждают? Это, батенька мой...

– Н-да-а! Хотя всё-таки такую бойню устраивать...

– Сегодня – его, завтра – меня могут...

– Н-да-а...

В другом месте горячо спорили:

– Он мог не знать!

– Тогда – зачем он?

Но люди, которые пробовали воскресить мертвеца, были уже редки, незаметны. Они возбуждали озлобление своими попытками воскресить умерший призраки. На них набрасывались, как на врагов, и они испуганно исчезали.

В улицу въехала, стискивая людей, батарея артиллерии. Солдаты сидели на лошадях и передках, задумчиво глядя вперёд, через головы людей. Толпа мялась, уступая дорогу, окутывалась угрюмым молчанием. Звенела упряжь, грохотали ящики, пушки, кивая хоботами, внимательно смотрели в землю, как бы нюхая её. Этот поезд напоминал о похоронах.

Где-то раздался треск выстрелов. Люди замерли, прислушались. Кто-то тихо сказал:

– Ещё!..

И вдруг по улице пробежал внезапный трепет оживления.

– Где, где?

– На острове... На Васильевском...

– Вы слышите?

– Да неужели?

– Честное слово! Оружейный магазин захватили...

– Ого?

– Спилили телеграфные столбы, построили баррикаду...

– Н-да-а... вот как?

– Много их?

– Много!

– Эх, – хоть отплатили бы за кровь невинную!..

– Идём туда!

– Иван Иванович, идёмте, а?

– Н-да-а... это, знаете...

Над толпой выросла фигура человека, и в сумраке звучно загудел призыв:

– Кто хочет драться за свободу? За народ, за право человека на жизнь, на труд? Кто хочет умереть в бою за будущее – иди на помощь!

Одни шли к нему, и среди улицы образовалось плотное ядро густо сомкнутых тел, другие спешно отходили куда-то прочь.

– Вы видите, как раздражён народ.

– Вполне законно, вполне!

– Безумства будут... ай-ай-ай!

Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам и несли с собой незнакомую им тревогу, пугающее ощущение одиночества, полупроснувшееся сознание драмы своей жизни, несправной, бессмысленной жизни рабов... И готовность немедленно приспособиться ко всему, что будет выгодно, удобно...

Становилось страшно. Тьма разрывала связь между людьми, – слабую связь внешнего интереса. И каждый, кто не имел огня в груди, спешил скорее в свой привычный угол. Темнело. Но огни не загорались...

– Драгуны! – крикнул хриплый голос.

Из-за угла вдруг вывернулся небольшой конный отряд, несколько секунд лошади нерешительно топтались на месте и вдруг помчались на людей. Солдаты странно завyli, заревели, и было в этом звуке что-то нечеловеческое, тёмное, слепое, непонятно близкое тоскливому отчаянию. Во тьме и люди и лошади стали мельче и черней. Шашки блестели тускло, криков было меньше, и больше слышалось ударов.

– Бей их чем попало, товарищи! Кровь за кровь, – бей!

– Беги!..

– Не смей, солдат! Я тебе не мужик!

– Товарищи, камнями!

Опрокидывая маленькие тёмные фигуры, лошади прыгали, ржали, храпели, звенела сталь, раздавалась команда.

– От-деление...

Пела труба, торопливо и нервно. Бежали люди, толкая друг друга, падая. Улица пустела, а посреди неё на земле явились тёмные бугры, и где-то в глубине, за поворотом, раздавался тяжёлый, быстрый топот лошадей...

– Вы ранены, товарищ?

– Отсекли ухо... кажется...

– Что сделаешь с голыми руками!..

В пустой улице гулко отдалось эхо выстрелов.

– Не устали ещё, – дьяволы!

Молчание. Торопливые шаги. Так странно, что мало звуков и нет движения в этой улице. Отовсюду несётся глухой, влажный гул, – точно море влилось в город.

Где-то близко тихий стон колеблется во тьме... Кто-то бежит и дышит тяжело, прерывисто.

Тревожный вопрос:

– Что, ранен?.. Яков?

– Постой, ничего! – отвечает хриплый голос.

Из-за угла, где скрылись драгуны, снова является толпа и густо, чёрно течёт во всю ширину улицы. Некто, идущий впереди и неотделимый от толпы во тьме, говорит:

– Сегодня с нас взяли кровью обязательство – отныне мы должны быть гражданами.

Нервно всхлипнув, его перебил другой голос:

– Да, – показали себя отцы наши!

И кто-то, угрожая, произнёс:

– Мы не забудем этот день!

Шли быстро, плотной кучей, говорили многие сразу, голоса хаотично сливались в угрюмый, тёмный гул. Порою кто-нибудь, возвысив голос до крика, заглушал на минуту всех.

– Сколько перебито людей!

– За что?

– Нет! Нам невозможно забыть этот день!..

Со стороны раздался надорванный и хриплый возглас, зловещий, как пророчество.

– Забудете, рабы! Что вам – чужая кровь?

– Молчи, Яков...

Стало темнее и тише. Люди шли, оглядываясь в сторону голоса, ворчали.

Из окна дома на улицу осторожно падал жёлтый свет. В пятне его у фонаря были видны двое чёрных людей. Один, сидя на земле, опирался спиной о фонарь, другой, наклонясь над ним, должно быть, хотел поднять его. И снова кто-то из них сказал, глухо и грустно:

– Рабы...

1906 г.